

В ноябрьском номере «Нового мира» увидела свет вторая часть «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина, которые пошли в народ, переживший вражескую осаду Ленинграда, и взяли свидетельства у тех, кто еще мог их представить. Это очень тяжелый материал, и в нем Адамович и Гринин обнару-

Уверен, в военной прозе появится еще немало нового не только по фактажу, но, главное, по концепции. Если попробовать немного попрогнозировать — хотя предугадать кто может? — то это, по-моему, углубленный психологизм, на пути которого следует ожидать какие-то новые повороты в военной теме. Есть и у меня кое-какие замыслы, хотя я и не знаю, насколько удастся их воплотить. Во всяком случае, хотелось бы, если не в развитие, то в дополнение к уже написанному кое-что сделать

НЕ ОДНАЖДЫ приходилось слышать от коллег — прозаиков и поэтов, что отзывы критиков, рекомендации и советы, содержащиеся в рецензиях, их мало занимают,

ДУМАЕТСЯ, недаром мудрые люди придумали в свое время разделение литературы по жанрам. И хотя нынче, как никогда прежде, жанры эти становятся неопределенными, размытыми, подверженными взаимодиффузии и смешению, все-таки жанровые законы остаются в силе, безнаказанно преступать их нельзя. Опыт деревенской и военной прозы, опыт наших лучших мастеров литературы красноречиво подтверждает это. То, что свойственно повести, не очень подходящее роману. Роман может то, что не по силам повести. У рассказа одни задачи, а у очерка — совсем другие. По остроте познания жизни, быта, экономических, нравственных и иных проблем очерк продемонстрировал свои блестящие возможности, связанные нынче прежде всего с именами И. Васильева, Ю. Черниченко, А. Стрельного и других. Вот уж действительно чьи очерки можно класть на стол Госплана, пусть потоптеет. Без преувеличения можно сказать: потеть ему в этом случае придется долго и много, потому что проблемы, поднимаемые в них, нешутейные, и разработаны они, как правило, глубоко и остро. Авторам повестей трудно за ними угнаться. Тем более авторам романов, хотя литература время от времени становится свидетельницей такого рода попыток, когда некоторые из романистов целиком посвящают свое детище какой-либо хозяйственной, экономической или даже технической проблеме. Это так называемый производственный роман. Я не могу вспомнить сколько-нибудь значительных удач в этом направлении. Очевидно, в наш сложный, бурно развивающийся век, век НТР, многие проблемы и экономические искания устаревают раньше, чем найдут свое воплощение в романах, которые, как известно, не скоро пишутся и еще медленнее издаются.

Единственно в какой-то мере может возместить ее наше искреннее слово о нем, как это сделал в свое время с помощью телеэкрана К. Симонов, как это делает А. Александрович. Его книга об Александре Твардовском — это удивительный сплав уважения и понимания замечательной личности человека и художника.

Запись
Ирины РИЦИНОЙ

1

1000

Но тут есть один щепетильный вопрос, относящийся именно к этому показу. Говорят, что культура — это память человека. Это правильно. Все дело, однако, в том, что следует помнить, — ведь человеческая память избирательна, а искусство уже в силу своей природы избирательно тем более. Например, что касается войны, то один ее участник из всего пережитого наиболее ярко запомнил, как его догоняли, хотели убить, но промахнулись, и он до сих пор вскакивает по ночам в холодном поту. Другой — как его награждали орденом, и

ПРИХОДИТСЯ слышать иногда от читателей суждения вроде: «Ну сколько можно перелопачивать одно трудное да кровавое, ведь были же на войне и радостные, веселые моменты, и шутка, и смех». И приводят в качестве примера «Василия Теркина». Да, на войне, к счастью, были и веселье, и даже счастливые минуты. И, конечно, высоко ценились юмор, шутка, все, что могло отвлечь солдата от мрачных мыслей, тоски по дому, настроить на оптимистический лад, поднять его боевой дух. Но хочу задать вопрос читателям, желающим извратить себя от бремени истинных знаний о прошлой войне: как они думают, почему свое замечательное повествование о Василии Теркине, смелом, решительном, никогда не унывавшем бойце, Твардовский начал публиковать в 42-м, в самый разгар войны, а стихотворение «Я убит подо Ржевом» написал уже после ее окончания, а двумя десятилетиями позже — щемящее-пронзительное «Я знаю, никакой моей вины...»? Почему так а не наоборот?

НАСТОЯЩАЯ литература, слава богу, никогда не укладывалась в прокрустово ложе, уготованное ей любителями легкого чтения. Вот и сейчас в наших журналах появились такие произведения о войне, с помощью которых не только не избавишься от бессонницы — от них и вовсе глаз не сомкнешь. Своей беспощадной, горькой правдой они безжалостно разрушают внутренний комфорт, переворачи-

ПРИХОДИТСЯ слышать иногда от читателей суждения вроде: «Ну сколько можно перелопачивать одно трудное да кровавое, ведь были же на войне и радостные, веселые моменты, и шутка, и смех». И приводят в качестве примера «Василия Теркина». Да, на войне, к счастью, были и веселье, и даже счастливые минуты. И, конечно, высоко ценились юмор, шутка, все, что могло отвлечь солдата от мрачных мыслей, тоски по дому, настроить на оптимистический лад, поднять его боевой дух. Но хочу задать вопрос читателям, желающим извратить себя от бремени истинных знаний о прошлой войне: как они думают, почему свое замечательное повествование о Василии Теркине, смелом, решительном, никогда не унывавшем бойце, Твардовский начал публиковать в 42-м, в самый разгар войны, а стихотворение «Я убит подо Ржевом» написал уже после ее окончания, а двумя десятилетиями позже — щемящее-пронзительное «Я знаю, никакой моей вины...»? Почему так а не наоборот?

НАСТОЯЩАЯ литература, слава богу, никогда не укладывалась в прокрустово ложе, уготованное ей любителями легкого чтения. Вот и сейчас в наших журналах появились такие произведения о войне, с помощью которых не только не избавишься от бессонницы — от них и вовсе глаз не сомкнешь. Своей беспощадной, горькой правдой они безжалостно разрушают внутренний комфорт, переворачи-

Более всего в «Блокадной книге» потрясает дневник 16-летнего Юры Рябинкина. Он погиб в начале января 1942 года. С первого дня войны и до последнего дня своей жизни он вел дневник, в который записывал, что видел, что думал, что переживал. Мы читаем строки, полные высоких дум и стремлений. А рядом — записи, передающие помыслы иного рода, вызванные постоянным унижением чувством голода. И мы видим, как голод разрушает человеческую личность и как в то же время дух хорошего, порядочного существа противится этому разрушению. Трагические страницы, равных которым я не знаю в мировой литературе. Трудно что-либо сравнить, всегда получается приблизительно. Но читая дневник ленинградского подростка, вспоминаешь знаменитый «Дневник Анны Франк», азовнозвавший в свое время весь мир, переведенный на многие языки, инсценированный и экранизированный. Дневник Юры Рябинкина несколько иного свойства. Автор его оказался в условиях, когда люди начинали терять человеческие черты, когда надо было выжить, не утратив при этом человеческого облика. В холодном, голодном, отрезанном от страны городе война расщепляла сознание, медленно вымораживала, выходила волю. Только очень сильные духом люди могли сопротивляться, и этот мальчик сопротивлялся из последних сил. Он требовательно и строго наблюдает за собой, без снисхождения стыдит себя за малейшее проявление малодушия, эгоизма, он искренне терзается, что слаб, бессилен, впадает в отчаяние, что из-за него, такого, могут погибнуть мать и сестренка, и готов за их спасение заплатить собственной жизнью. Во многих его записях звучит мысль, что, мол, ничего не сделал и сделать не смогу, потому что слаб. Он не понял, но мы-то сейчас должны понять, что тем самым, что он так бесстрашно анализировал себя, свою жизнь, свои поступки, не давая себе сползти, утратить человеческие качества, и все это передоверил бумаге, чтобы это дошло до нас,—он тем самым свершил свой собственный подвиг.

Война — неуходящая тема. Она не может быть уходящей, когда человечество борется против угрозы ядерной катастрофы. Видимо, в ближайшее время наша страна найдет новый аспект в по-

Я думаю, что хотя мы и не гениальные писатели, но уж, во всяком случае, квалифицированные читатели. То есть относительно хорошо знаем жизнь, чтобы разобраться в ее запутанных эмпирях, и кое-что смыслим в литературе. И тут возникает любопытный парадокс: почему мы, люди, в силу своего воспитания и образа жизни зачастую далекие от проблем «неперспективных» деревень, быта древних стариков и старух, мало-или вовсе неграмотных отшельников в зачастую никогда не виданной нами дремучей тайге, с их размеренным, однообразным и часто примитивным укладом, — почему мы частенько с нудой большим интересом и участием читаем об их трудах и заботах или о думах и тревогах скромного железнодорожного рабочего с маленького, затерянного в необозримой степи полустанка, нежели о блестящих научных или служебных успехах тех, кто гораздо нам ближе по опыту жизни, мировоззрению, мироощущению — высокообразованных жрецов науки, искусства, руководителей производства, начальников главков? Почему безграмотный дед из послевоенной деревенщины интереснее иного «интеллектуала», озавещенного судьбами народов, в то время как наш дед не может удовлетворительно определить судьбу единственной своей буренки, оставшейся на зиму без сена? О том печаль его, и она нас трогает больше, чем драматические переживания кого-либо из упомянутых мною перед уходом на вполне

Я думаю, что хотя мы и не гениальные писатели, но уж, во всяком случае, квалифицированные читатели. То есть относительно хорошо знаем жизнь, чтобы разобраться в ее запутанных эмпирях, и кое-что смыслим в литературе. И тут возникает любопытный парадокс: почему мы, люди, в силу своего воспитания и образа жизни зачастую далекие от проблем «неперспективных» деревень, быта древних стариков и старух, мало-или вовсе неграмотных отшельников в зачастую никогда не виданной нами дремучей тайге, с их размеренным, однообразным и часто примитивным укладом, — почему мы частенько с нудой большим интересом и участием читаем об их трудах и заботах или о думах и тревогах скромного железнодорожного рабочего с маленького, затерянного в необозримой степи полустанка, нежели о блестящих научных или служебных успехах тех, кто гораздо нам ближе по опыту жизни, мировоззрению, мироощущению — высокообразованных жрецов науки, искусства, руководителей производства, начальников главков? Почему безграмотный дед из послевоенной деревенщины интереснее иного «интеллектуала», озавещенного судьбами народов, в то время как наш дед не может удовлетворительно определить судьбу единственной своей буренки, оставшейся на зиму без сена? О том печаль его, и она нас трогает больше, чем драматические переживания кого-либо из упомянутых мною перед уходом на вполне

Я думаю, что хотя мы и не гениальные писатели, но уж, во всяком случае, квалифицированные читатели. То есть относительно хорошо знаем жизнь, чтобы разобраться в ее запутанных эмпирях, и кое-что смыслим в литературе. И тут возникает любопытный парадокс: почему мы, люди, в силу своего воспитания и образа жизни зачастую далекие от проблем «неперспективных» деревень, быта древних стариков и старух, мало-или вовсе неграмотных отшельников в зачастую никогда не виданной нами дремучей тайге, с их размеренным, однообразным и часто примитивным укладом, — почему мы частенько с нудой большим интересом и участием читаем об их трудах и заботах или о думах и тревогах скромного железнодорожного рабочего с маленького, затерянного в необозримой степи полустанка, нежели о блестящих научных или служебных успехах тех, кто гораздо нам ближе по опыту жизни, мировоззрению, мироощущению — высокообразованных жрецов науки, искусства, руководителей производства, начальников главков? Почему безграмотный дед из послевоенной деревенщины интереснее иного «интеллектуала», озавещенного судьбами народов, в то время как наш дед не может удовлетворительно определить судьбу единственной своей буренки, оставшейся на зиму без сена? О том печаль его, и она нас трогает больше, чем драматические переживания кого-либо из упомянутых мною перед уходом на вполне